Альпийская баллада

Автор:
Василий Быков

Альпийская баллада

Василий Владимирович Быков

«19 июня 1945 года ему исполнился 21 год. И уже год, как дома из похоронки знали, что он «пал смертью храбрых».

Он погиб и вернулся, чтобы понять («понять» – слово тяжелое, более мучительное, чем слово «рассказать») то, что уже не избыть.

Лучшую книгу о нем Игорь Дедков назвал «Повесть о человеке, который выстоял». Это очень верное название. Он выстоял не только в войне. Тяжелее и невыносимее был вот этот самый труд понимания. Читатель, который пройдет сейчас путь его героев впервые, поймет, какие были потребны силы, чтобы прожить эти немыслимые жизни…»

Василь Быков

Альпийская баллада

Встретиться с собой

19 июня 1945 года ему исполнился 21 год. И уже год, как дома из похоронки знали, что он «пал смертью храбрых».

Он погиб и вернулся, чтобы понять («понять» – слово тяжелое, более мучительное, чем слово «рассказать») то, что уже не избыть.

Лучшую книгу о нем Игорь Дедков назвал «Повесть о человеке, который выстоял». Это очень верное название. Он выстоял не только в войне. Тяжелее и невыносимее был вот этот самый труд понимания. Читатель, который пройдет сейчас путь его героев впервые, поймет, какие были потребны силы, чтобы прожить эти немыслимые жизни.

Его товарищи по поколению (Астафьев, Кондратьев, Воробьев) иногда брали «увольнительные» и писали свет детства, житейские радости, бедный и счастливый мир довоенной и послевоенной жизни. Василь Быков с самых первых рассказов говорил только о войне. В этом смысле он подлинно не вернулся оттуда. И с самого начала он не писал торжества и победы. А только последнее напряжение срыва, крайнего испытания, гибели, из которых нельзя было выбраться прежним.

Виктор Петрович Астафьев в последние годы часто говорил, что с войны вообще нельзя вернуться живым. Во всяком случае, нельзя вернуться победителем. Можно разве выстоять, что выше победы.

Тут разговор сразу приобретает тяжелый характер, каков он в последнее время неизбежно становился, когда речь заходила об Астафьеве и Быкове. Особенно об этих двоих. Они пошли в понимании войны дальше даже своих жестких, часто коримых и, к сожалению, до времени ушедших товарищей К. Воробьева и В. Кондратьева. Те еще были на святой и, при всей прямоте и резкости разговора, героической стороне.

Эти – на особицу и оба в конфликте с поколением, с общественной частью этого поколения, с теми, кто определил войну в раз и навсегда высокие и гордые, не подвергаемые резкому анализу страницы истории.

Василь Быков узнал властную силу этой общественной гордости раньше Астафьева, сразу после повести «Мертвым не больно», где двоящиеся герои (военный особист и обвинитель военного трибунала, которых солдат при послевоенной встрече принимает за одного человека) быстро нашли себе защиту в «Правде». Писателю скоро объяснили, что есть обстоятельства, в которых надо стрелять и судить своих для пользы общего дела, и изгнали

повесть в молчание. Писатель еще и сам в этот час нетерпеливо спрашивал, искал прямого разговора и вполне в духе «оттепели» торопился выяснить цену человека и назвать зло злом с почти газетным простодушием: «Менялись люди, происходили революции, человечество прорвалось в космос, освободило внутриатомную энергию. А те установки, вдолбленные в сознание их исполнителей, видно, стали их убеждением. Конечно, они сейчас не распинаются о них на каждом углу, но вот, оказывается, и не стыдятся». Не только не стыдятся, а его стыдят и «народным мнением» запрещают.

Позднее он уйдет на молчаливые поля одного художественного свидетельства, оставив нас наедине с героями самим решать степень правоты героев и автора. Конфликты сюжетов пойдут затягиваться все туже. А пути героев делаться все теснее. В дело вступит судьба, которая тут поистине суд Божий, форма проявления правды. Появится странное чувство, что все они, как сам автор, живут с похоронкой внутри, которая сразу освобождает человека от общественного лицемерия и защитного быта, выставляя его на узкий высокий порог, с которого только и пути, что в гибель или в освобождающее понимание, которое внешне может закончиться той же гибелью, но внутренне – слепящим черным светом преображения. Черным, потому что никто из них не увидит победы своего прозрения, ибо она и вообще еще не совершена в мире. Человек еще остается в тенетах истории и самозащитной неправды, только на пути к подлинному человеку в себе. Автор не облегчает его путей, потому что, может быть, в высокой честности и не знает последних ответов и не торопит их самонадеянным разумом.

И если искать определение не одному автору («человек, который выстоял»), но всем его героям, всей мучающей Быкова неотступной идее, то вернее, наверное, было бы сказать: человек, который встретил себя.

…Зоська шла на очередное задание («Пойти и не вернуться»), а встретила любовь, чтобы тут же и потерять ее, и с сознанием едва открывшейся глубины мира обречено покатиться к гибели, потому что зло, оказалось расчетливее и беспощаднее ее чистоты. У войны свои правила, и их впервые понимает даже и вчера еще хороший партизан, а сегодня враг и противник Зоськи: «Видно, нельзя так все сразу– жить для себя, для других, воевать, любить женщину и быть счастливым».

…Старый солдат Агеев («Карьер») вернется во времена юности и будет долгое лето перекапывать старый карьер, чтобы успокоить себя, что четыре десятка

лет назад, расстреливаемый здесь, он не погубил свою нечаянную возлюбленную, что чудо сберегло ее и он заплатил за все сам. Хотя они сразу были оба умны умом войны и не обманывали друг друга: «Они старались не говорить о будущем, о том, что их ждет завтра, даже сегодня к вечеру, ночью. Они жили настоящим, каждым мгновением, ибо только это мгновение принадлежало им. Завтра для них могло не быть вовсе, вчера было давно и тоже не принадлежало им».

Их открытия кажутся просты до бедности и нынешнему изощренному, вскормленному безопасным книжным знанием уму даже странны (о чем тут говорить?), но они знают что-то, что выше и значительнее слов, когда корят нас: «Знаний о войне у вас хватает. Но вот атмосфера времени – это та тонкость, которую невозможно постичь логически. Это постигается шкурой. Кровью. Жизнью. Вам же этого не дано».

И вот эту-то «атмосферу», эту непостижимую тонкость он и пишет из повести в повесть. Его настойчивость, его желание достучаться до нашего сознания почти болезненны. Иногда кажется, что мы в его книгах кружимся на одном месте, на малом пятачке земли, никогда не знавшей солнца. Он отлично слышит плоть, материю мира, потому что до войны учился скульптуре. Эта осязательная, ненастная «ощупь» изнуряет героев и читателя. Это выстуженное, враждебное человеку пространство трагедии, где и природа не знает света. Идут долгие глухие снега, льют ненастные дожди, мороз коробит бинты. Поля враждебны, леса чужды, дороги гибельны. Против них ополчается и время – не успевают дойти, дожить до рассвета, выйти к своим. Взбунтовавшаяся против войны жизнь ломает часы и времена года. Иногда этот мертвый холод выговаривается в самом имени повести.

«В тумане» проходит короткая и бесконечная, стремительная и вязко безысходная, с порога петлей затянувшаяся операция, в которой партизану Бурову надо было «просто» убить предателя. А все оказывается буднично и неразрешимо, словно туман стал вечным временем действия, мысли и жизни, и поднимется он, пожалуй, только, когда через два дня все герои повести, ничего не развязав и не сумев никому ничего объяснить, будут мертвы.

«Стужа» гонит вчерашнего комсомольца и молодого партийца, нынешнего партизана Азевича от деревни к деревне, где вчера он тяжело строил «светлое будущее», а сегодня ему нет пристанища, потому что он строил его слишком страшно. И теперь ему одинаково чужие и свои, и немцы.

До появления в литературе Василя Быкова такие сюжеты были не особенно в тягость. Ответы у авторов были готовы заранее, и предатель получал свое, партизан – свое. А тут погибает с клеймом предателя честный мужественный человек («В тумане»), и смерть навсегда уносит его тайну, и жена, сын, односельчане навсегда определят его в молчаливые черные списки. Так что война и по окончании доберет свое искаженными судьбами, продолжая свою страшную жатву.

Не жалко было бы районного инструктора Азевича («Стужа») – увечил жизнь деревни гибельной коллективизацией, ломал жернова, оставлял детей без хлеба – пусть теперь помечется чужим по родной земле. А только Быков таких задач с известным решением не ставит и бумагу на них не переводит. В том-то и беда, что парень-то обыкновенный, совестливый, самый-самый народ в его середине. Да только во всю его молодую жизнь «чужая воля правила свой дьявольский бал на человеческих жизнях… Он жил чужой совестью, по чужим законам (один ли он? – а мы, мы все! – В.К.). Жизнь и люди распоряжались им как хотели, он был удобным инструментом в чужих руках, всегда безвольно готовым к употреблению». И он уже давно сам увидел, что «если происходящее во вред живущим, то не на пользу и последующим», сам увидел, что «свои со своими начали воевать давно и делали это с немалым успехом». Только что же, что понял, если над ним уже НКВД кружит, сжимая круги, и некуда ему деться. У немцев – стужа, у своих – стужа. И он мечется по повести, заметаемый снегом, и плетется за ним черный молчаливый пес, возросший на трупах, не подходя и не отставая, как мысль и судьба. Не знает герой, куда деть это свое понимание. Разве только на последнем пороге утешит себя надеждой, что после войны люди будут разумнее.

Нет другого утешения у Зоськи, нет у Бурова, нет у Азевича, нет у лейтенанта Никольского («Дожить до рассвета»), ведшего людей, чтобы взорвать немецкий склад, а потерявшего и склад, и бойцов. И даже свою жизнь израсходовавшего на никчемного тылового немца. Кажется, лейтенант за всех своих товарищей по этой повести и за всех других быковских героев в последний час с особой тоской ухватывается за эту бедную мысль о неведомом, не сужденном им будущем.

«Он хотел верить, что все, им совершенное в таких муках, должно где-то обнаружиться, сказаться в чем-то. Пусть не сегодня, не здесь, не на этой дороге… Но ведь должна же его мучительная смерть, как и тысячи других, не менее мучительных смертей, привести к какому-то результату в этой войне. Иначе как же погибать в совершеннейшей безнадежности относительно своей

нужности на этой земле и в этой войне? Ведь зачем-то он родился, жил, столько боролся, страдал, пролил горячую кровь и теперь в муках отдавал свою жизнь. Должен же в этом быть какой-то пусть не очень значительный, но все же человеческий смысл…»

Должен, должен же быть смысл в гибели юной Зоськи, в гибели товарищей уцелевшего, не знающего успокоения Агеева, в смерти правого Бурова и «неправого», «предателя» Сущени? Должен, но в каждой повести писателя, как и в последних страшных книгах Астафьева, смущавших его воевавших сверстников, как будто все маячит вопрос, и душа не успокаивается доводами разума. И понемногу начинаешь понимать причины расхождения этих мужественных писателей со своими старыми оппонентами, которым все кажется, что писатели умаляют их подвиг, отнимают высокий смысл у их победной жизни.

Вот Буров («В тумане»), коченея, уже видя неизбежность смерти, думает о своей и до войны незавидной жизни: «Других лет не было у Бурова. Именно эти выпали на его долю… И в этот последний час жизни ему становилось нестерпимо обидно за свою безвременно оборванную жизнь и скорую разлуку с белым светом… Не было времени жить, некогда по-человечески умереть». Значит, тогда не было, и вот теперь писатель не сулит ему утешения хотя бы в победной славе.

Это может показаться несправедливым, если только мы не поймем, что старым авторам, таким же насквозь израненным солдатам, жалко этих молодых людей, как своих детей, умирающих, не успев пожить и порой не успев даже и сказать того, что поняли, унеся в смерть правду, которая могла выправить и озарить их жизнь. Эти немые исповеди услышали только писатели. И для этого слышания им самим потребовались годы, и оттого их боль только острее боли всякого кажущегося себе насквозь правым читателя. Это тяжело прочесть, но это стократ тяжелее написать, выносить эту боль в себе, заглянуть в самое ее дно и умереть с молодым Буровым, встать под расстрел с Агеевым, кружиться в мертвой стуже с Азевичем и вместе с лейтенантом Никольским вглядываться в темную правду совершающегося.

«– Жить хочешь?

– Жить? – почти удивился боец. – Не худо бы. Но…

Вот именно – но! Это НО дьявольским проклятием встало поперек их молодых жизней, уйти от него никуда было нельзя. В то памятное воскресное утро оно безжалостно разрубило мир на две половины, на одной из которых была жизнь со всеми ее немудрящими, но такими нужными человеку радостями, а на другой – преждевременная, страшная в своей обыденности смерть… Чтобы как-то обойти ее, обхитрить, пересилить на своем пути, продлить жизнь, нужны были невероятные усилия, труд, муки… Разумеется, чтобы выжить, надобно было победить, но победить можно было, лишь выжив, – в такое чертово колесо ввергла людей война. Защищая жизнь, страну, надо было убить, и убить не одного, а многих, и чем больше, тем надежнее становилось существование одного и всех. Жить через погибель врага – другого выхода на войне, видимо, не было».

Эта правда была понятна им там, в молодой жизни. Там они не спрашивали, а воевали и гибли. Но вот приходит время, и старые солдаты уже спрашивают не с минувшей истории – она была и ушла, и новое поколение почти не находит их книги мужественными, потому что теперь можно писать все, – они спрашивают с истории нынешней и завтрашней. Можно ли и вперед жить через погибель врага? И можно ли обрекать новые поколения на то же кружение в кровавой тьме, из которой не бывает победного выхода? Для этого они и возвращаются, возвращаются в тяжкое, истощающее силы прошедшее и растравляют раны, которые так бойко заживила бодрая послевоенная литература.

Они выстояли в более важном. Им хватило мужества вернуться к полноте уже как будто похороненной правды, чтобы додумать то, что казалось навсегда решенным. Они не дождутся за это благодарности от старых сверстников, избравших самозащитный гнев, чтобы сохранить прошедшее только мужественно героическим (в стилистике А. Луначарского и Р. Рождественского – «Славно вы жили и умирали прекрасно»). Не дождутся и от молодых современников, которым уже скучна эта «тема» в любом ее переводе и кто уже готов избирать ее для иронических, а то и глумливых контекстов.

Но есть более важный и менее поспешный собеседник – время, есть мужественный разум, который понимает необходимость отвечать перед Богом за полноту человека и который медленно, может быть, по слову в столетие накапливает грядущую «декларацию прав человека», в которой не будет места жизни, завоеванной ценой гибели как можно большего числа других людей.

Опыт Василя Быкова и каждое слово этой горячей, страдающей, не сулящей ложного утешения книги освобождают человека от укороченной «правды», от духа лукавого мира, от пассивного круговорота истории, как от общего греха человечества. Всему свое время.

В один час мира и жизни Толстой скажет в «Войне и мире»: «…дубина народной войны поднялась со всею грозною и величественною силою и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». Но когда дело совершится, мы услышим от него же: «Война самое гадкое дело в жизни». Василь Быков прошел этот путь весь и договорил эту правду словами нового века. И как та великая книга, эта продолжает дело вразумления человека, не умеющего выйти из круговорота исторической необходимости. Когда-нибудь эту правду услышим и мы.

Автор и его герои встретились с собой, с Господней полнотой ответственного понимания мира. Нам эта встреча еще предстоит.

В.Курбатов

Альпийская баллада

Глава первая

Он споткнулся, упал, но тут же вскочил, поняв, что, пока вокруг замешательство, надо куда-то убежать, скрыться, а может, и прорваться с завода. Но в вихревых потоках пыли, поглотившей цех, почти ничего не было видно, он чуть не угодил в черную пропасть воронки, где взорвалась бомба, по краю обежал яму. Чтобы не наткнуться на что-нибудь в пыли, выбросил вперед руку, а другой сжал пистолет; опять споткнувшись, перекатился через вывороченную взрывом бетонную глыбу, больно ударившись коленом. Вскочил уже босой, растеряв колодки, и ногам стало нестерпимо больно на беспорядочно заваливших цех бетонных обломках.

Сзади слышались крики, в другом конце помещения гулко протрещала автоматная очередь. «Черта с два!» – сказал себе Иван, вскочил на сброшенную с перекрытий железную ферму, оттуда перемахнул на косо рухнувший столб простенка. По простенку взбежал выше. Потянуло ветром, пыль постепенно рассеивалась, можно было оглядеться. Балансируя руками, он пробежал по какой-то бетонной балке и очутился на краю громоздких развалин цеха. Впереди в трех шагах и ниже было последнее его препятствие – полуразрушенная стена внешней ограды, а дальше, будто ничего в целом мире не произошло, безмятежно утопали в зелени улицы, пламенели под солнцем черепичные крыши домов и совсем близко на склоне призывно темнела хвойная чаща леса.

В одно мгновение охватив все это взглядом, он сунул в зубы пластмассовую рукоять пистолета и прыгнул. Острые железные шипы в гребне ограды требовали точного расчета, но ему удалось ухватиться за них руками и быстро перемахнуть на ту сторону. Падать, однако, помедлил, на вытянутых руках опустился пониже и потом оторвался. Упал в жесткие колючки бурьяна, вскочил, перехватил пистолет и изо всех сил помчался по картофельному участку вдоль проволочной сетки.

Сзади неслись крики и захлебистый лай собак, в нескольких местах протрещали очереди, поодаль взвизгнули пули. Кажется, начиналась погоня, его шансы убывали, но он уже не мог отказаться от ставшего большим, чем жизнь, намерения уйти, перемахнул через сетку ограды и по колючей шлаковой дорожке еще быстрее устремился вверх, к недалекой уже окраине.

Взрыв в цехе, наверно, всполошил население. По дорожке от белого дома во всю прыть мчались к заводу двое мальчишек, передний был с игрушечным ружьем в руках, но за кустарником они не заметили его. Иван выскочил из-за кустов акаций и едва не столкнулся с девушкой, несшей полную лейку. Та испуганно вскрикнула и выронила ее. Он молча пробежал мимо, из коротенького проулка выскочил на немощеную окраинную улицу, оглянулся по сторонам – улица была пуста. Иван перебежал ее, продрался сквозь пыльные заросли насаждений и упал. Впереди домов уже не было, на огромном крутом косогоре раскинулся некошеный, густо усеянный ромашками луг, у дороги дремотно качались метелки какой-то неведомой ему травы. Дальше и выше в распадках начинался лес, а над ним в знойном июльском небе теснились сизые громады Альп.

Сдерживая дыхание, Иван прислушался: сзади доносились крики и выстрелы, заливались овчарки, но это там, на заводе, за ним же, кажется, еще не гнались. Рукавом полосатой куртки он смахнул с лица пот, заливавший глаза, и приподнялся, определяя кратчайший путь вверх. Невдалеке был распадок, ближе других подступавший к городу, туда по крутому склону сбегали сверху редкие елочки. Иван снова вскочил на ноги.

Это оказалось чертовски трудным – все время бежать в гору: тело становилось чрезмерно грузным, от слабости подкашивались ноги. На середине косогора он снова оглянулся – собачий лай, кажется, уже доносился с окраины. Полоснула близкая очередь, но пуль он не услышал – значит, еще не по нему. По другим! Видно, там разбегались. Это облегчало его положение, надо было торопиться.

Но он выбивался из сил и с трудом одолевал пригорок. Сзади как на ладони был виден весь городок, переднюю часть которого занимали длинные, похожие на ангары корпуса завода, там и сям чернели развалины – свежие следы бомбежки; длинная ограда в одном месте рухнула, за проломом дыбились искореженные фермы перекрытий – это от их бомбы. Там бегали, суетились люди. Иван пригнулся (его уже начал скрывать пригорок) и вяло побежал к ручью, возле которого наконец с облегчением распрямился. Лес был рядом, на склоне.

Иван замедлил бег, вытер рукавом лицо. Дальше путь пролегал по дну широкого травянистого распадка. Подъем становился круче, меж черных скользких камней шумно бурлил ручей. Вконец изможенный, Иван уже достиг первых разбросанных по склону елочек, когда снова услышал лай собак. Показалось, что они за пригорком, рядом, и он, опять выбиваясь из сил, побежал в гору. Хоть бы успеть добраться до хвойной чащи, там легче укрыться, как-нибудь обмануть преследователей или, если уж не суждено вырваться, погибнуть не зря.

Но добежать до леса Иван не успел.

Он взбирался по траве вверх, минуя большие и малые обломки скал с рассыпанной повсюду дресвой, и почти уже достиг еловой опушки, как сзади, будто вынырнув из-за пригорка, совсем близко залилась лаем собака. Иван кинулся к молодой елочке, затаившись, выглянул сквозь ветви – через бугор, мелькая в траве бурой спиной, по его следам мчалась овчарка.

Он понял, что до чащи ему не успеть. Шире расставив ноги, крепче сжал в руке пистолет. Он не знал, сколько в магазине патронов, интересоваться этим было поздно, хотя и понимал, что в патронах – его спасение. На минуту расслабил мускулы, стараясь дышать ровнее. Надо было успокоиться, собраться с силами, унять в груди сердце, чтоб ударить без промаха.

Собака увидела его, залилась громче, злее и, попарно выбрасывая сложенные лапы, устремилась вверх. Стоя за елью, Иван пригнулся, взглядом отмерил рубеж в какой-нибудь полусотне шагов возле каменного выступа в траве и направил туда пистолет. Овчарка стремительно приближалась, прижав к голове уши, вытянув хвост; уже стала видна ее раскрытая пасть с высунутым языком и хищным оскалом клыков. Иван затаил дыхание, напрягся, стараясь как можно лучше прицелиться, подпустил ее шагов на пятьдесят, выстрелил. И сразу же понял, что промазал. Пистолет дернулся в руке стволом вверх, в нос ударило пороховым смрадом, овчарка залаяла сильнее, и он, не целясь, наугад, поспешно выстрелил еще. Тотчас короткая радость блеснула в душе – собака отчаянно взвизгнула, взвилась, со всего маху ударилась о землю и в каких-нибудь двадцати шагах от него задергалась, забилась в траве. Он уже готов был кинуться в лес, но тут увидел: огромный, с рыжими подпалинами на боках волкодав, задыхаясь, выскочил из-за камней. За ним, петляя в траве, тянулся длинный ременный повод.

Иван, не целясь, торопливо вскинул навстречу пистолет, но выстрела не последовало, очевидно, что-то заело. Перезарядить он не успел, лишь ударил по затворной планке ладонью, однако волкодав был уже рядом и прыгнул. Иван как-то увернулся за ель, собака, задев ветки, пронеслась мимо, но, казалось, еще не долетев до земли, перевернулась в воздухе и тут же с раскрытой пастью кинулась снова. Не зная, как защититься, Иван вскинул навстречу руки.

Это был точный и сильный прыжок. Пистолет выпал из рук Ивана, сам он не устоял на ногах и вместе с собакой покатился по склону. Казалось, все скоро кончится, но Иван, падая, успел схватить волкодава за ошейник и железным напряжением рук оттянул его от себя. Собака сильно царапнула когтями, где-то с треском разорвалась одежда. Одной рукой сжимая ошейник, другой Иван поймал переднюю собачью лапу и сильно выкрутил ее в сторону. Задыхаясь в борьбе, они еще раз перекатились друг через друга, потом, чтобы как-то удержаться сверху, Иван выбросил в сторону ноги, изо всех сил стараясь подмять под себя собаку. Наконец это ему удалось, и он, навалившись на пса всем телом, начал его душить. Но волкодав был чертовски силен, и Иван вдруг

понял, что долго так не выдержит. Тогда, изловчившись, он последним усилием двинул его коленом. Волкодав взвизгнул и резко дернулся, едва не вырвав из руки ошейник. Иван почувствовал, как под коленом будто хрястнуло что-то, и, выламывая пальцы, еще туже затянул ошейник. Но задушить пса у него не хватило силы, волкодав отчаянно рванулся и выскользнул из рук.

Иван сжался в ожидании нового прыжка, но собака не прыгнула – распластавшись рядом и вытянув толстую морду с выброшенным набок языком, она часто и сипло дышала, злобно глядя на человека. Натертые ошейником, у Ивана жгуче горели ладони, от перенапряжения нервно трепетала мышца в предплечье, чуть не выскакивало сердце из груди. Опустив на траву дрожащие руки, он стоял на коленях и почти дикими глазами глядел на собаку.

Они следили один за другим, боясь упустить первую попытку к прыжку, и в то же время Иван опасался, как бы не появились немцы. Через минуту он понял, что волкодав вряд ли бросится первым. Тогда он поднялся на ноги и, отступив в сторону, схватил в траве камень. Хотел им ударить собаку, но тут же раздумал. Волкодав судорожно выгнул хребет, видно, ему досталось не меньше, чем человеку, и он беспомощно, тихо скулил. Иван сделал несколько осторожных шагов назад. Волкодав приподнялся, тоже немного подвинулся, поводок его скользнул по траве. Но он не вскакивал. Иван, еще больше осмелев, устало побежал вверх, к ели, где уронил пистолет.

Собака завизжала от бессильной ярости, немного проползла по траве и остановилась. А человек поднял с травы браунинг и медленно, задыхаясь, насколько позволял остаток сил, побежал по распадку вверх, в еловую чащу.

Глава вторая

Минут через пять он уже был в лесу и бежал вдоль стремительного, с необыкновенно прозрачной водой ручья. На склоне стоял чистый, не захламленный валежником лес. Бежать, однако, мешали камни. Подъем становился все круче. Опасаясь новой погони, Иван сунулся было в ручей, чтоб скрыть от овчарок след, но вода ледяным холодом обожгла ноги, и он, пробежав шагов десять, выскочил на берег. Вскарабкался на скалистую кручу, на секунду остановился, чтобы перезарядить пистолет. Затвор выбросил на камни

перекошенный патрон. Иван нагнулся за ним и вдруг замер – сквозь говорливое журчание ручья сзади донеслись голоса. Оставив патрон, он торопливо подался вверх, чуть в сторону от ручья, пролез сквозь чащу елового молодняка и, еле справляясь с дыханием, опустился на четвереньки.

Подул ветер, и в небо из-за гор выплыл косматый край тучи. Видимо, надвигался дождь. Иван осмотрелся, окинув взглядом камни под елями. Внизу как будто никого не было. Он уже хотел вскочить на ноги и побежать, как вдруг до его слуха донесся слегка приглушенный, настойчивый оклик:

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/bykov_vasiliy/al-piyskaya-ballada

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить